



Евгений Угрюмов

# Фарс о Магдалине

# Евгений Юрьевич Угрюмов

## Фарс о Магдалине

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=26910348](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26910348)*

*SelfPub; 2017*

### Аннотация

Пётр Анисимович, главный редактор издательства, фасад которого выходит кто знает куда, – читает в рукописи, неизвестно откуда попавшей на редакторский стол: "Ведь сказано же, не шутя, что рукописи не горят. И ещё сказано: "Читайте, всему своё время, ибо ни одна йота и ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё".

Комфортного чтения, мой читатель!

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

61

Евгений Угрюмов

7 мая 2006 г.

***Фарс о Магдалине***

(Дневники Марии)

кукольная комедия

***«...нас почитают умершими, но вот, мы живы...»***

*(2-е послание к коринфянам святого апостола Павла, б.9.)*

1

**ПЁТР АНИСИМОВИЧ КРИП**

Пётр Анисимович Крип... Мир перевернулся. С ума все походили. Теперь ещё и фильм. Куда ни глянь – глаза – раскосые, улыбаются сфинксовой улыбкой, будто знают больше

всех, будто предлагают загадку, будто разгадку знают только они... и этот ещё, рядом, Эдип с мясистым носом и длинной бородой, седой, волосок к волоску. Обвиняют будто – непонятно в чём. В метро на стекле, на стенах, на заборах, на афишах, с витрин магазинов, с полиэтиленовых пакетов, с футболок... борода и мясистый нос... крупным и мелким шрифтом... нонпарель, петит, цицеро – «...да Винчи!»

– Дорогой Лапа мой, завтрак готов... – голос Веры неровный, неуверенный. Вера с утра чувствует, если днём что-то должно случиться. Вот и сейчас выронила вилку, звякнувшую откуда-то знакомым созвучием.

Сосиска вкусная, румяная, молочная, с чуть треснувшим кончиком.

«Целую в щёчку».

В низок завезли партию итальянских сосисок.

„Magicci Salsicci“.

Пётр Анисимович Крип откусил, откусил, съел сосиску и задумался; образы, звуки, слова...

...но надо было дальше.

Пётр Анисимович Крип... попил чай... солнце тоже не предвещало ничего хорошего, как если бы мир на самом деле перевернулся, и светило светило на какую-то другую сторону...

Пётр Анисимович Крип... поднялся по лестнице и вошёл в кабинет главного редактора издательства «Z», что фасадом

выходит... да кому, какое дело куда фасадом выходит издательство «Z»?

На столе лежала рукопись.

«Мир перевернулся, – читает главный редактор. – С ума все походили. Теперь ещё и фильм. Куда ни глянь – глаза, раскосые, улыбаются сфинксовой улыбкой, будто знают больше всех... Обвиняют будто, непонятно в чём; в метро на стекле... с футболок... борода, седая... и мясистый нос...»

«Чушь какая-то», – думает главный редактор, понимая, что эти слова – его собственные, его собственные, его с утра донимающие мысли.

На титульном листе стоит: «Фарс о Магдалине».

«Этого ещё не хватало!»

Ниже, тем же шрифтом, размером 12, в скобках, подзаголовков: «Дневники Марии».

Главный редактор снимает телефонную трубку и набирает номер, глазами же бежит по тексту, ищет продолжение: Мир перевернулся. С ума все походили. Теперь ещё и фильм...

Трубка молчит, хотя, *когда* главный редактор проходил мимо кабинета выпускающего, там уже слышались голоса.

...крупным и мелким шрифтом... нонпарель, – продолжает следить за текстом, не выпуская из рук трубку, главный редактор, – петит, цицero – «...да Винчи»».

«Чушь какая-то, – снова говорит сам себе Пётр Анисимо-

вич, и повторяет ещё раз: – чушь! – и поднимает от рукописи глаза» – читает редактор в невесть откуда взявшейся у него на столе рукописи.

Пётр Анисимович Крип, – было написано дальше, – попил чай... ..солнце... ..светило... ..в свой кабинет... .. редактор издательства «Z», что фасадом выходит...

«Да кому, какое дело, куда фасадом выходит издательство «Z»?!» – срывается Пётр Анисимович и останавливает сам себя возразившей рукой и читает дальше: ...да кому какое дело куда, фасадом выходит издательство?

«Мис-с-ти-ка», – кривит губы, кривляется губами, кривляется главный редактор издательства «Z» Крип Пётр Анисимович, и перед глазами возникает, выскакивает и паясничает, как сюрприз из шкатулки, жирным чёрным 12 кеглем «...нас почитают умершими, но вот, мы живы...».

В трубке заходится лилипутский фальцетик. Пётр Анисимович прикладывает ухо: «Вы хотели узнать откуда на столе у вас эта рукопись? – фальцетик становится очень, – было написано, – по-ангельски прозрачным.

– Да, я...

– Читайте, всему своё время, – перебивает прозрачный по-ангельски голос, – было написано дальше и дальше было написано: – *ибо ни одна йота и ни одна черта не прейдёт*

*из закона, пока не исполнится всё*<sup>1</sup>. Читайте, ведь это ещё рукопись; она уже, конечно, не сгорит, но спрятать можно так, что, как сгорит.

– Кто это? С кем я говорю? – пытается, было, редактор, но в трубке образуется молчание, становится тихо, безмерно и так, как будто гроб уже засыпали землёй.

Да, гроб! – читает Пётр Анисимович. – Гроб не забивали, как раньше, гвоздями, отчего защемляло в сердце. Гроб защёлкнули, как сундук или чемодан защёлками, и это поразило Петра Анисимовича, и от этого навернулись слёзы.

Похоронили писателя, журналиста. Газеты сначала раздули. Попробовали попитаться смертью, попробовали найти правых, левых, но те смешались в кучу, и оказалось, что куча и не знала даже про такого – как писателя, так и журналиста, и все вымыслы охочих до сенсаций боссов и репортёров оказались совершеннейшей чушью и вымыслом, потому что Вадим никогда не занимался, ни левыми, ни правыми и, ни задними, ни передними...

Газеты замолчали и оставили Вадима; Вадим остался мёртвый и защёлкнутый защёлками вместо гвоздей, хотя гвозди могли бы лучше, чем любые защёлки поставить всё на свои места.

Трубка снова печально оживает: *«Вначале появилось прелюбодеяние, затем убийца, и он был порождён от прелюбо-*

---

<sup>1</sup> Еванг. От Матфея 5:17-18

«С кем я говорю?» – начинает, было, редактор Крип, но в трубке щёлкает и голосом Веры-секретарши говорит: «Пётр Анисимович, здравствуйте, к вам гости из уголовного розыска».

«А кто положил мне рукопись на стол?» – частит редактор, услышав знакомый голос и пропустив мимо ушей «гости из уголовного розыска». Но в трубке снова образуется безмерность, а в кабинете образуются два типа – этакие-такие Бим и Бом, держа каждый, в вытянутой перед собой руке, открытые книжечки-удостоверения.

«Наверное, книжечки-удостоверения», – думает главный редактор.

– Да, удостоверения, – говорит первый и представляется: – Бим!

– Бом! – представляется второй.

«Цирк какой-то», – думает Пётр Анисимович.

– Не совсем, – говорит Бом.

– Весь мир театр, – говорит Бим.

– Шекспир, – добавляет Бом.

– Чем могу быть полезен? – спрашивает редактор Крип.

– Можете, можете, – одновременно начинают оба, а потом продолжает первый Бом: – можете быть очень полезными...

– ...полезны, – подхватывает Бим, – следствию! Потому что речь идет о вашем сотруднике, – тут Бим косит глаз на

---

<sup>2</sup> Еванг. От Филиппа

свою приоткрытую левую ладонь и читает с приоткрытой ладони написанную, наверное шариковой ручкой, шпаргалку, – Не-бы-лица Ва-дим Ге-расимович... Вот!.. – указывает на собственную левую ладошку правой ладошкой Бим. – О вашем сотручнике Небылице Вадиме Герасимовиче...

Бом тоже бросает взгляд на свою правую («наверное – левша», – предполагает Пётр Анисимович), бросает взгляд на правую ладонь и, согласно и утвердительно, кивает головой.

– Следствие...

– Следствию...

– и небезосновательно показалось, что причиной смерти Небылицы Вадима Георгиевича ...

– Герасимовича, – указывает пальцем в ладошку Бом.

– ...было убийство!

Тут оба клоуна захлопали явно подрисованными глазами и подклеенными ресницами, будто произошла какая-то ошибка, или несправедливость, или недоразумение и оба уставились в написанные на ладошке шпаргалки, а потом пристально на редактора издательства «Z».

Пётр Анисимович молчит.

– Своим молчанием вы не отрицаете...– язвит один из Бим-Бомов.

– ...а подтверждаете своим молчанием, – продолжает язвить второй, – что это было убийство?

Пётр Анисимович оторвал глаза от рукописи и приложил к уху трубку, которую так до сих пор и держал в руке:

«Вера, скажите, кто принёс мне эту рукопись?» – было написано в рукописи.

Вера в трубке помолчала, а потом появилась со своей трубкой в дверях. При этом мужчины – Бим и Бом – уважительно привстали со стульев.

– Какую рукопись, Пётр Анисимович? – спрашивает Вера, и глаза её преданно смотрят на любимого... шефа.

– Вот эту, – говорит Пётр Анисимович и указывает на лежащую на столе рукопись.

Бим и Бом вскакивают как будто их ущипнули (за мягкое место) и в мгновение оказываются по обе стороны редактора.

Пётр Анисимович теряется. Получается, что про Бима и Бома он не вычитал в рукописи, а что Бим и Бом действительно находятся у него в кабинете и теперь, с двух сторон, тянут руки к рукописи.

– Что же это такое? – взрывается редактор.

– Почитать...

– ...из профессионального любопытства, – в тон, будто это театральное действие или представление в цирке, будто действие на самом деле происходит в театре или в цирке, лицемерят оба.

– Да что же это такое?! – ещё раз взрывается редактор и

прихлопывает ладошкой рукопись на столе прежде, чем клоуны успевают её схватить. – Вера!..

Но Веры не было. В кабинет входил недоверчивого типа тип с погонами капитана на милицейской форме, а за ним ещё один такого же типа тип, с погонами лейтенанта и, разумеется, поэтому, моложе.

«Сейчас они представятся Бимовым и Бомовым» – думает редактор и оглядывается на Бима с Бомом, которые лицами выражают: «Ну что ж, мы и не возражаем...» – и садятся на стулья, у стеночки – если стать лицом от двери, налево.

Пётр Анисимович понял, его прямо-таки пронзила мысль, что всё это, весь этот сыр– бор из-за рукописи, которая так и остаётся лежать под его ладошкой.

«А может, – догоняет редактора вторая мысль, – мне надо отдохнуть; нервы на пределе; махнуть с Верой на неделю... в Египет, что ли?»

– Махнёте, Пётр Анисимович, махнёте, – встречается в мысли редактора Петра Анисимовича капитан милиции, – только сначала, не могли бы вы ответить нам на пару вопросов?

– На пару вопросов, – подтверждает лейтенант.

– Разрешите представиться: следователь угрозыска по опасным (он так шутит) делам капитан...

– Бимов? – спрашивает и тоже шутит одновременно редактор, – читает редактор, а капитан замирает, – читает дальше Пётр Анисимович, – замирает на мгновение и продолжает, оставив на редакторе глаз:

– А это мой, как теперь принято называть...

– коллега Бомов! – снова опережает капитана Пётр Анисимович.

Лица представителей угрозыска выражают бог знает что, а Пётр Анисимович думает: «Это какой-то конец света», – и вспоминает голос в трубке: «ибо ни одна йота и ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё».

«То есть, всё исполняется... как и куда надо идёт, йота за йотой и черта за чертой», – грустит про себя Пётр Анисимович, а вслух говорит:

– А как вы узнали, что я хочу махнуть?..

– Но вы же сами сказали...

«Да, мне надо отдохнуть, – начинает думать Пётр Анисимович, покусывая свой указательный палец и тем, контролируя себя, чтоб не сказать своих мыслей вслух. – Нервы ни к чёрту. Особенно с событиями последних дней... расстроились совсем. Набросились все, все кому не лень:

«... суд Лондона приступил к рассмотрению дела о плагиате автора бестселлера!»

Представляете? – плагиат – бестселлер?

«... это оскорбление христиан, кощунство!»

«... в Ватикане намерены бороться с ложью!»

«... задание кардинала – разоблачать неправду!»

Шестой тираж в типографии! – продолжает читать редактор Пётр Анисимович Крип. – Расходится не хуже «Гарри Поттера»!.. Литераторы опускают глаза при встрече.

«... демонстрация на центральной афинской площади...»

«... антиисторический, абсолютно лживый и нелепый роман!..»

Будто романы об Адаме и Еве и Сыне Человеческом исторические, правдивые и красивые...

И Вадим... Вадим, Вадим... Нет, его не убили. Он стал жертвой собственных фантазий и наваждений... Махнуть в Египет...»

– Не убили, говорите? – встряёт капитан по опасным делам.

Теперь Пётр Анисимович мог, грубо говоря, поклясться, что он ничего не произносил вслух, потому что палец был во рту... но клятва была неуместна, и, поклянись Пётр Анисимович, ему бы всё равно не поверили.

– Вы думаете, причиной смерти Небылицы Вадима Георгиевича...

– Герасимовича, – поправляет лейтенант в милицейской форме или милиционер в лейтенантской форме, как хотите.

– ...причиной смерти были его собственные фантазии и наваждения?..

– ...

– Да, следствие не обнаружило признаков насильственной смерти или суицида, в то же время медэкспертиза не обнаружила ничего, от чего мог бы умереть несчастный писатель. Как это – собственные фантазии и наваждения? Фантазии и наваждения – причина смерти? Над этим следует задуматься...

И Пётр Анисимович задумался, и в думах ему явился Вадим...

По пересохшей пустыне, вытирая со лба и с лица пот, от родника к роднику, от колодца к колодцу, от всякой ямы с дождевой водой до ямы, где смоковница, прбклятая нашим Господом, всё же спасает своей тенью и плодоносит, да так, что по её сладким плодам всю Обетованную и Святую Землю называют страной сладости<sup>3</sup>, на сером ослике с чёрной полоской на спине полз и скользил, и съезжал, и взбирался, и плутал меж скал и камней, преследуя свой фантом, навеянный призрак или призрачную мечту, как хотите, журналист Вадим. Кто-то ему явился, или где-то он вычитал, или ему приснилось, или открылось, или неизвестно откуда журналист Небылица узнал, что там, в Обетованной Земле, в какой-то древней священной роще, на высотке, где когда-то было капище Ваала или Астарты, или Ваала и Астарты вместе, или в том что от него осталось, под каким-то священ-

---

<sup>3</sup> эрец хемда

ным дубом, сикоморой, или в ней самой, в дупле что ли? или чёрт знает где! лежит нетронутый вот уже два тысячелетия какой-то свиток (как, может быть, какой-нибудь кумранский, если это, конечно, не очередная инспирация, инсинуация, инсталляция, провокация ... или как свитки из библиотеки в Наг-Хаммади...) А что? Приснилась же Шлиману Троя; может и Вадиму Небылице приснилась страшная и прекрасная богиня любви и войны... и открыла ему полтайны, вторую половину которой, он должен был отыскать в земле пророков и апостолов... и Периодическая таблица Менделеева явилась Менделееву во сне.

– Не отвлекайтесь, товарищ Крип, – слышит вдруг редактор голос.

– Гражданин Крип, – поправляет строго голос милиционера лейтенанта, голос коллеги милиционера.

На ослике, потому что ни на чём другом здесь, меж камней, у скал, по высотам, где прячутся за христианскими и мусульманскими церквушками и мечетями ханаанские идолы и жертвенники еврейских Аврамов и Исаков, на ослике, которого он купил на ярмарке скота в Хевроне, где над гробницей, в которой похоронен и Авраам, и Исаак, и Иаков, вместе с Саррой и Ревеккой, где над гробницей, которая в пещере Махпеле, на поле Ефрона, которое против Мамре, которое приобрёл Авраам у сына Цохара, Хеттеянина, где над гроб-

ницей Авраама стоит мусульманская мечеть, на ослике, потому что в таких местах любая лошадь сломает ногу, трясся Вадим от села к селу... а за ним два бедуина, на расстоянии и, как и положено всем бедуинам, в бурнусах и накрученных на голову и лицо, так что видны одни глаза, платках. Вадим давно знал эти глаза за собой, и здесь они преследовали его, он чувствовал их в автобусе, когда ехал в Хеврон и сейчас... он оглядывался, но в мари раскаленного воздуха бедуины казались призраками, видениями, а потом и вовсе исчезали за поворотами скал или смешивались с пастухами, пасущими овец и коз и играющими на свирели, будто все они были Давидами; будто все они были готовы сражаться с Голиафами; будто все они, вот прямо сейчас, с воплями, под рёвы труб, готовы были броситься молиться и истязать себя, доводить до экстаза и призывать всех на свете богов: и арамейских, и сидонских, и моавитских, и аммонитских... И филистимлянским богам, и Ваалу, и Астарте приносить кровавые жертвы и плясать, плясать под тимпаны, тамбурины и флейты с потными хананеянками и совокупляться в жару полыхающих костров с рогатыми дивами, шлюхами, волчицами – чёрными и красивыми как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы... а потом, расплатившись за миг услады козлёнком, возвращаться к своему негодующему Саваофу и своим овцам...

Редактора Крипа аж в жар бросает от представших его

взору картин; он сглатывает слюну, смахивает пушинку, присевшую прямо на слово «волчицами» и продолжает читать:

Тайны – они же не тайны, если лежат на поверхности, и цель не так сладка, если путь до неё не тернист и не долог, и глоток воды не обжигает, если губы не иссохли; едешь и едешь, и едешь, и тогда только, когда едешь долго, вдруг радость встречает тебя на долгом пути – селение, деревня; на улице играют дети в свои игры, у источника сидят женщины в своей очереди, чтоб набрать воды, судачат о том, о сём, о погоде, об урожае, о священной роще, куда когда-то бегали стародавние красавицы, чтоб найти себе жениха – как написано: *«пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лён, елей и напитки...»*<sup>4</sup>

Далеко-далеко, за окнами издательства «Z», которые выходят в то место, до которого никому нет дела, загудел благовест. Натура содрогнулась, и всякое естество содрогнулось. По каналам, режущим город во всех направлениях, побежала рябь и разбудила спящие в воде отражения серафимов с золотыми крыльями. Из окон высунулись женщины – испуганно и благоговейно; в колыбели заплакал ребёнок, мать взяла его на руки и стала Девой; прозрел слепой. Ос-сан-н-н-н-н-на... *О святая миронощице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, мы, грешнии и недо-*

---

<sup>4</sup> Кн. Пророка Осии, 2,5.

*стойниши, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердца молимся...*<sup>5</sup>. Со скрипом и скрежетом стали разваливаться гробы и восставать из них апостолы – двенадцать и семьдесят, и все святые, и блаженные, и августины, и оригены, и бесноватые монахини, и юродивые монахи... – *Ты в житии твоём страшные козни бесовские испытала...*<sup>6</sup> – стали выстраиваться рядами, чтоб идти крестным ходом с хоругвями и крестами, и иконам, и свечами невесть куда, в защиту...

У меня же сегодня день рождения... сегодня, – хочет вспомнить Пётр Анисимович Крип, но не успевает, потому что чёрный попик впрыгивает в кабинет – тщедушный и старательный и согласно каждому удару благовеста начинает бить поклоны, и согласно каждому поклону проливать-ся молитвой святой Марии Магдалине: *Ты паче всех блаземных...* Бумм!.. *Сладчайшего Господа Иисуса возлюбила еси...* Бумм!.. *И тому чрез все житие добре последовала еси божественными учении его...* Бумм!.. *И благодатию души свою питающи...* Бумм!.. *И множество человек от тьмы языческа...*<sup>7</sup> Бумм, Бумм и Бумм!..

– Да что вы несете, уважаемый? – говорит голос капитана.

– Гражданин Крип!

Гражданин Крип отрывает глаза от рукописи и мимо ка-

---

<sup>5</sup> Молитва мироносице равноапостольной Марие Магдалине.

<sup>6</sup> <sup>2</sup> Молитва мироносице равноапостольной Марие Магдалине.

<sup>7</sup> Молитва мироносице равноапостольной Марие Магдалине.

питана и лейтенанта видит на стуле, с левой стороны, если стоять к двери лицом, в самом углу, в пейсах, бороде и чёрной широкополой шляпе еврея.

«Ещё один Бим-Бом», – решает Крип.

– Все мы здесь Бим-Бомы, – тихо говорит еврей, а потом, будто обращаясь к тем, кто жил, живет и ещё будет жить: – *Буквы её<sup>8</sup>, словно семя нерождённых ещё поколений, брошены в мир, чтобы стать живыми душами людей, стать именами живущих. И лишь когда завершится их список, когда исчерпается Книга, и последняя её буква обретёт человеческую плоть и смысл – тогда придёт Мессия и закончится эта долгая история<sup>9</sup>.*

«Ар-р-ти-ис-т... – думает, поджав губы, редактор, а потом, пощупав толщину рукописи, думает вслух, всё больше раздражаясь, распаяясь, кривляясь и указывая пальцем на опустившего ниц глаза еврея: – Книга исчерпается тогда, когда исполнится всё? а всё исполнится тогда, когда исчерпается книга? Чушь собачья! Сотни лет, тысячи! словоблудия. Ваш Мессия придет, когда закончится «эта долгая история?» А тот, который уже пришёл, который ходил по воде, который накормил пятью хлебами пять тысяч, который родился от девственницы, воскресил Лазаря, обещал спасение... тот не Мессия?...»

---

<sup>8</sup> Библии

<sup>9</sup> Талмудический мидраш.

Пётр Анисимович Крип не очень разбирался во всяких хитросплетениях и тайнах мировых религий, но был человеком творческим, читай свободолобивым, почему он и протолкнул, собственно говоря, из чувства противоречия и вольнодумства, в печать это «оскорбление христиан... кощунство!», как сказал директор пресс центра Opus Dei по поводу нашумевшего романа. За это Пётр Анисимович и получил опущенные глаза литераторов при встрече и похвалу издателя за заработанные издательством «Z» деньги, и нервную лихорадку, не проходящую вот уже сколько времени. «Но XX век на дворе, – размышлял бедный редактор Крип, – но если кто-то выдумал, что бог был человек или что вообще был бог, почему другому не разрешается придумать, что у этого богочеловека была жена?

«А что касается лазарей и ангелов! – продолжает Пётр Анисимович Крип, обращаясь теперь к тщедушному, старательному и чёрному попику, а потом ко всем, кто вдруг ни с того ни с сего оказался у него в кабинете, – что касается ангелов и лазарей... Где ангелы, и лазари где? Где всё это? Где всё то, что обещает, предвещает нам спасение? И спасение от чего? От страха божия наказания? Вера! Вера! Зайдите ко мне, скажите, кто принёс эту рукопись?»

«Да они рассказывают нам басни, – произносит марево в римской тунике и тоге, вдруг соткавшееся вместо Веры из сморщенного криповским криком воздуха, – они даже не умеют лгать толком, совсем не умеют придать хоть какое-ни-

будь правдоподобие своим выдумкам, измышлениям. У них просто не хватает ума! Они по нескольку раз переделывают тексты, так называемую Благую весть, чтоб это хоть немного походило на правду»<sup>10</sup>.

Благовест, за окном, возмущённый, рванул, и с потолка упал кусочек побелки. Но не тут-то было. Будто ватага огольцов сорвалась в бег – с криками и визгами, улюлюкая и язвя улепётывающую жертву – затренькали, задзинькали, затенькали, забренчали и затрезвонили средние, малые и совсем маленькие колокола и колокольчики. Набросились и давай откалывать по кусочку, по капельке, отщипывать по пёрышку от пугала, от пугалища. И вот – страшило уже голое и не страшное, одно клепало осталось, какая-то пустяковина, чепуховина, бемоль какой-то, стручок медно-розовый, какой-то символчик мужских производительных сил, изви- вающийся змеёй язычок! а вокруг: перезвоны и трезвоны, и «динь» и «дон», и потрогать и пощупать, и восторг и захлеб- нуться: «Пётр Анисимович! Пётр Анисимыч! Петя! Друг! Аниска! Петух!» Дверь распахнулась, товарищи, коллеги и подчинённые ринулись в кабинет, и Аниска утоп в водопаде happy birthdays, потоке чмоков, звяканье фужеров и тарелок с закусками, шампанских хлопов и шипов; стол был накрыт, тостующие подмигивали и похлопывали по плечу и выпивали за успех, за братство, за женщин, которые нас окружают,

---

<sup>10</sup> Цельс, «Правдивое слово».

за мужчин, которые окружают женщин, за веру, за веру в надежду, а еврей в бороде и шляпе предложил за любовь и расцеловался при этом с чёрным попиком. Капитан расцеловался с одним из бим-бомов, лейтенант со вторым, все были согласны, обнимались и выпивали.

Нет, конечно же, легенда была мощной, – думал Пётр Анисимович. – Никакие страдающие озирысы, адонисы и фаммузы, и никакие дионисы и близко несравнимы с распятым Спасителем. Человеку свойственно, свойственно чувство жалости, особенно к обездоленному, нищему, страдающему, потому что каждому самому всегда кажется, что он сам обездоленный и страдалец в этой жизни. «...так приятно считать себя несчастным, хотя, на самом деле в тебе только пустота и скука»<sup>11</sup>, – шутил сын века. Словом, трагедию сочинили великую... и трепет, и страх, и сострадание... всё по правилам, по Аристотелю, и катарсис... на небесах, когда «исполнится всё»... *«Ибо в воскресении... пребывают, как Ангелы Божии на небесах»*<sup>12</sup>. Тогда уж господь разберётся: провинившихся накажет, заслуживших(ся) похвалит...

Предлагают почтить рюмкой водки память мироносицы...

И всё же, две тысячи лет уже – едят и едят, и едят и едят...

---

<sup>11</sup> А. Мюссе, «Исповедь сына века».

<sup>12</sup> От Матфея, 22; 29, 30.

то, что осталось от пяти хлебов, куски и остатки, и всё никак не насытятся, и всё никак не съедят всех кусков и остатков, что остались от пяти хлебов. И всё удивляется, и восхищается, и восторгается величайшими творениями, и плачет, постигая великие и всякие смыслы, сочинённые по поводу истерзанного... Да-да! «...это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне»<sup>13</sup>.

Предлагают почтить рюмкой водки память мироносицы; и руководитель рекламных проектов Илья Ефимович Креп, уже не первый раз шутит на эту тему: «Вы теперь всегда вместе».

Вся редакция, благодаря Криповскому дню рождения, знала, что этот день – ещё и день святой Магдалины.

«Помянут меня – сейчас же помянут и тебя», – ещё лучше шутит креативный директор Кроп, и после его шуточки становится вдруг тихо в кабинете – народ образованный – что-то вспомнили, каждый что-то о себе думает, и снова становятся слышны колокола на колокольне далёкого собора.

Предлагают помянуть Небылицу.

– Удивительно, удивительно! – заходится (после того как помянули) симпатичная, молоденькая, ещё только склонная к полноте бильд-редактор Юленька (если полностью – Юлия Аркадьевна Крепсова). – Умирает человек, и не успеешь

---

<sup>13</sup> Э. Кант.

прийти с кладбища, как он уже превращается в некий образ, иконку, и слова его уже не просто звуки, а что-то большее...

– И главное, – перебивает Юленьку, пальцем в потолок, фото-редактор (полностью – Круп Аркадий Юльевич), – главное, что слова эти слышали только вы... и без свидетелей! А кто докажет теперь? кто докажет, что это не так, а? – и палец, оставив потолок, тыкает и обводит собравшихся, будто спрашивая: ты? или ты? или ты? И все следят за пальцем, будто в цирке за пальцем фокусника, который отвлекает от главного, чтоб: как удивить, вдруг!.. И удивляет. И все удивляются, и удивляется сам фокусник, потому что палец останавливается на Вадиме, который сидит рядом с неизвестной красавицей, как жених с невестой, и тоже следит за пальцем, пока палец не останавливается на нём.

Снова в наступившей тишине слышатся колокола и колокольцы.

«Горько! Горько! Горько! – первая кричит Юлинька, потому что первая приходит в себя и все, вдруг, будто с цепи срываются и, сорвавшись, хором кричат: – Горько! Горько!», – потому, что все знают, что у Вадима Небылицы была большая любовь, очень большая любовь, уже после той большой любви, которую все знали, а вот эту никто до этих пор и не видел ...

Да и не мог видеть (про это знал только Крип), не мог видеть, потому что Вадимова любовь жила далеко-далеко (далеко ли?), далеко (здесь идут всякие вадимовские эзотери-

ческие измышления: далеко, там где колодцы, из которых пойдут овец и коз, и там где святыни, которым молятся и христиане, и иудеи, и мусульмане, и все, у кого только есть охота молиться).

Там, далеко... упала ночь вдруг...

Ах, кому интересны эти всякие эзотерические измышления и догадки поражённого поисками архаических и символических знаний ума? Но Вадим... он жил такими загадками и догадками, рождёнными и капризным знанием, и фантазией, и всякую историю рассказывал так изошрённо, так умудрялся всё запутать и превратить в какой-нибудь всемирный потоп или в какое-нибудь «Откровение...», что порой уже никакой ковчег не в состоянии был вынести слушателя на возделенную гору, и ни у какого агнца уже не хватало сил снять седьмую печать.

Здесь я прошу извинения у читателя, которому неинтересны всякие эзотерические измышления и догадки поражённого поисками архаических и символических знаний ума, – прочитал Пётр Анисимович Крип, – прошу его (читателя... следователя, прокурора, судью, – промелькнула безысходная мысль у Петра Анисимовича в голове), без обид перелистать страницы до страницы «X», где он найдёт продолжение истории, случившейся с Вадимом в Стране Обетованной, в самом что ни на есть натуралистическом виде.

Там далеко... упала ночь вдруг, – было написано дальше, – и исчез вдруг, всякий звук. Луна взошла и замерла, буд-

то кто подвесил её на гвоздь... или лучше – прибил её гвоздём; круглая луна, не излучающая лучей, прибитая к ночному свету неба. Полоса каменно-бело-жёлтой пустыни, полоса небесного света, два бедуина на верблюдах на горизонте. Соглядатаи. Бим-Бомы. Недвижимы, как любые затаившиеся соглядатаи. Как вырезные картинки, приклеенные к свету неба. Как тени из ослиной кожи на кукольной ширме. Всё замерло вместе с Луной и всё стало недвижимо...

Всё недвижимо и объявляющая тишина такая, что жизнь боится жить.

*Положи меня, как печать на сердце твоё,  
как перстень на руку твою:  
ибо крепка, как смерть любовь...*

...что это?... что это проникает тишину и вечность? Это песня любви, песнь о любви, песнь песней? словно белые девы восстали из раскалённого песка земли, и вечность перестала. И подхватила и замерцала Луна. И тишину разорвали шофары – трубы иерихонские (потому что, какая бы она была тишина, если бы её не разорвали?)

*...как смерть любовь...  
стрелы её – стрелы огненные;  
она – пламень весьма сильный.*

Белые девы, белые боги, грифоны белые с головой льва и белые львы с головой грифона, белые вóроны, дующие в трубы, лани, шакалы, соколы, бычьи головы, всё белое в свете Луны; Луна теперь сыплет на землю, в колдовских лучах своих, хороводы и маскарады масок и струит трепетное желание, и напояет им всякую суть.

Вадим закрывает и открывает глаза, закрывает и открывает, но видение не проходит, да и не видение это.

Кто-то подходит и надевает на него маску, и он оказывается рядом с девушкой. На ней тоже маска. Они стоят рядом, и рядом с ними, и за ними стоят те, которые сегодня будут посвящены в таинства притрогиваний и проникновений, и перед ними, предваряемая львами и газелями, жрецами в белых хламидах и жрицами в вуалях, облечённая наготой, на белом козле является царица; Лилит, Церера, Атаргатис, Астарта; Великая Любодеица; лилии и змеи – ожерелья её и браслеты; 18 мириад демонов её свита; а багряный зверь с семью головами и десятью рогами валяется в ногах её; и виссон, и пурпур, и багряницу, и золото и жемчуг, и миро и ладан, и корицу и фимиам попирает она как сухую траву, от которой и в печи – ни жара, ни света.

Бряцают кимвалы, позванивают колокольчиками увенчанные лунным диском дочери Сиона, и тимпаны, ещё пока покойно, неторопливо, но размеренно и неотвратимо задают темп старинной мистерии, древнему ритуалу, обрядовому действию. Свершается.

Вадим видит, как из земли пробивается огонек, и он слышит, как сдержанным криком «Эво-э!», может, чтоб не испугать ещё только зародившееся создание, приветствуют его появление.

*Ты появляешься и начинаешься,  
Ты прорастаешь и просыпаешься  
Ты всходишь из чресл матери.*

«Эво-э!» – и спелые колоски пшеницы и ячменя, и головки чеснока и мака падают в рождающую теплину, и роженица всхлипывает и тянется за огненным дитём своим, и отдаёт ему силу жертвенного приношения.

*Ты взошёл на лоно, полное жара,  
Пей, чтобы насытиться.  
Юный, вспыхнул ты на пупе земли.*

Пламень разгорается, вскидывается, когда его кропят жиром, прыскает искрами, тянется, тянется вверх и красит красными всполохами чёрный божественный фаллос, тоже растущий, набухающий, тоже тянущийся вверх, вместе с огненными языками.

*Едва родившись, ты увеличиваешься,  
Ты заполняешь мир*

*Отблески огня озаряют тебя*

Жрец надламывает шею горлицы...

*Для тебя, продолжающий род!*

...и кровь брызгает на зардевшую от света костра священную плоть...

*Тебе, ты, который хочет женщину!*

...и, заглушая гимны и флейты, хрипит иерихонская труба ...

*Тебе нежные прикосновения,  
Тебе страстные проникновения*

...и взлетают тонкие в кольцах пальцы, и нежно опускаются, гладят, ласкают окроплённый кровью стебель.

Вадим чувствует, как электрический ток пробегает по телу и ему хочется притронуться к руке, которая рядом, невыносимо хочется притронуться к руке, которая рядом. Притронуться, прикоснуться к руке – ничего больше. Прикоснуться к руке, и он прикасается, и тысячью чувств взвивается в нём прикосновение.

И всех, всё вокруг, и пустыню, и небесный свет, и Луну,

теперь уже клокочущую и красную, будто её тоже окропили кровью, и даже соглядатаев на горизонте, и жрецов и жриц, и белых дев, и богов, и грифонов, и белых львов, ланей, шакалов, соколов, бычьи головы и белых вóронов, дующих в трубы – всё, всех пронзает ярая космическая жажда, вожделение и похоть.

Рокотом взвиваются тимпаны...

*Бросайтесь на него, отвязные кобылицы,  
Лижите его ненасытными языками!*

...и белые девы любви, сдирая одежды, набрасываются на вожделенное тело, припадают и проникают его, обвивают и размазывают себя по жертвенной влагой окровавлённому чёрному дереву.

*Пусть опьянят они тебя,  
Чтоб стал ты быком неутомимым.*

Вадим... Вадим, Вадим... Нет, его не убили. Он стал жертвой собственных фантазий и наваждений... Удивительно!

«Удивительно, удивительно, – думает, на манер молоденькой, ещё только склонной к полноте Юлиньки Репсовой, редактор Крип. – Удивительно, что никто не заметил... что ни-

кто не заметил или, правильнее, не вспомнил, или не осмыслил, не осознал, не взял в толк, или не озадачился тем, что Вадим, на которого указал фото-редакторский палец, теперь не может сидеть здесь, за столом, потому что он уже мёртв, уже умер, потому что вчера его, все вместе провожали в последний путь, на кладбище, потому что вчера у всех слезились глаза, когда защёлкивали защёлками Вадимовский гроб...»

«Горько, горько!» – кричали сотрудники издательства Вадиму и его неизвестной невесте.

И Вадим встал, и встала невеста-красавица, и встали все, и все стали отсчитывать: Раз, два, три, четыре... «многие лета» (пока Вадим и красавица целовались), а когда Пётр Анисимович очнулся от Вериного голоса: «Петя, Петя...», – за окнами уже было жёлто от вечерних фонарей и в голове ещё бились в колокольных перезвонах слова: *Да лобзает он меня лобзанием уст своих!.. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!.. Поднимись ветер с севера и принеси с юга, повеи на сад мой, - и польются ароматы его!.. Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть любовь...*

Редактор опускает глаза в лежащую перед ним рукопись и читает: ...за окнами уже было жёлто от вечерних фонарей и в голове ещё бились в колокольных перезвонах слова: *Да лобзает он меня лобзанием уст своих!..*

Луна, как и солнце, днём, не обещает ничего хорошего...

правильнее сказать: её, луны, как и солнца, днём, почти не видно. Она лишь мелькает за облаками, которые несутся, как бешенные, будто кто-то гонит их из этого мира в какой-нибудь другой, будто их жалит и кусает, и преследует посланный богом слепень, и они отмахиваются от него руками и бегут, катятся и мчатся, ища хоть у кого-нибудь защиты, хоть где-нибудь спасения... ах, где он, тот Египет?

Пётр Анисимович Крип, разбуженный Верой, сидящим за столом и склонённым над рукописью, непонятно чьей рукописью и непонятно каким образом попавшей к нему на стол (не понятно ли?), разбуженный, когда уже все поздравлявшие и вообще все уже ушли, и когда наступил уже вечер, вышел из издательства и шёл сейчас по набережной канала, одного из тех, которые режут город во всех направлениях, и сам был гоним, как тучи (туча) навязчивыми думами, и, подобно допотопному завистнику Каину, который бежал от гнева господня... который, кстати, сейчас, показался редактору несколько раз на противоположной стороне улицы... подобно завистнику Каину спрашивал сам себя: *«Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то не у дверей ли твоих грех лежит?»*<sup>14</sup> – и хватался за голову Пётр Анисимович, чтоб она не развалилась от дум и терзаний, с которыми никак – ни справиться, ни разобраться он не мог. Разобраться и как-нибудь упорядочить хотя бы то, что произошло сегодня, не получалось; голоса по

---

<sup>14</sup> «Бытие».

телефону, Бим-Бомы, еврей в углу кабинета, неистовый мираж в римской тоге, попик в чёрной ряске, хламидке, – всё это на самом деле (на самом ли?) обреталось у него сегодня в кабинете... а если нет... не обреталось... если это были наваждения и химеры?... тогда надо обращаться к психиатру...

Все эти фантазмы очень были похожи на те, которые являлись Вадиму, и о которых Вадим рассказывал редактору, и которые – не сами фантазмы, в них Крип не верил, но рассказы Вадима – последнее время так раздражали редактора Крипа.

Да, Вадим... сам Вадим! и его девушка? которые целовались под вопли издательских работников.

«Необходимо, совершенно необходимо сходить к Вадиму, вернее на квартиру к Вадиму, туда, где жил Вадим, где жил теперь уже защёлкнутый защёлками Вадим, – Петра Анисимовича прямо клинило на этих защёлках. – И всё прояснить! Немедленно, сейчас же...»

Крипа подмывала и подталкивала эта мысль, и ключи от квартиры у него были в ящике, в ящике стола, в кабинете, запасной комплект, который Вадим оставил Аниске на всякий случай.

Редактор остановился... вместе с ним остановилась луна... Тогда Пётр Анисимович решительно повернулся и вместе с луной побежал назад в издательство «Z».

«Аниска», да «Аниска», – так называли редактора Крипа, когда он учился в университете. Называли, наверное, без

всякого умысла... отчество такое было... но Петух (так тоже обзывали студента Крипа и это тоже не имело никакого отношения к уголовно-жаргонному «петух»), но Петух, студент, будущий редактор Крип, каждый раз, когда слышал «Аниска», вздрагивал и вспоминал Сологубовскую Аниску (Аниску Фёдора Сологуба), которая перерезала ножом горло своему маленькому братику (такой ассоциативный ряд).

Вадим учился рядом, то есть параллельно, на факультете семитских языков (Крип – на факультете журналистики) и они были знакомы, потому что жили недалеко друг от друга и часто ездили на учёбу одним трамваем. Часто встречались в столовой, всё чаще заговаривали о чём-нибудь, хотя о чём им было говорить?

Вадим был одержим, как сказал профессор, «*любовью к угасшему Востоку*»; смешно; каменные и глиняные книги, старинные рукописи, папирусы, клинописные таблетки, пиктография, рисуночное письмо, всякие космогонические мифы, древние храмовые обряды и ритуалы – словом, тайны древностей и смыслы мёртвых языков занимали его. Крип же, напротив, изо всех сил пытался постичь живой язык и научиться жить – выживать в сегодняшнем кроплении жизни.

И «*Они сошлись...*» – шутили про них студенты, всегда готовые всякой бессмыслице придать смысл и тут же его высмеять. А может, знаки зодиака? Телец и Лев! Что может быть несуразнее? Нет в природе знаков более несовмести-

мых! Ну, да всё же, они стали друзьями, и не зря уголовные следователи Бимов и Бомов, выяснив кое-что в своих тайных картотеках, обратились к Петру Анисимовичу Крипу за некоторыми разъяснениями.

«А кто же тогда эти Бим и Бом? если Бимов и Бомов следователи? а еврей в пейсах?..»

Где-то, еще, наверное, в полях, заурчал гром, и, ещё неспособная светить, близоруко и бледно пугнула молния. Именно пугнула, потому что толком ничего не высветив, породила лишь изъяны и недомолвки; из-за фонарных столбов высунулись косые физии, а в кронах лип зашуршали пустые звуки, выдающие себя за что-то существенное и важное, и способное нагнать страху.

Стоп! В его окнах горел свет. В окнах его кабинета, на втором этаже горел свет. Но не свет остановил вдруг Петра Анисимовича, вернее не так свет, что и само по себе, уже, конечно, было странно, а тени, замершие на задёрнутых шторах. Две тени, будто сам Жак Калло прочертил их смешливым резцом, два этаких, нелепых персонажа – с развевающимися павлиньими перьями на шлеме один, и в несуразном балахоне; с длинными до колен рукавами другой – оба застыли в *aufтакт*<sup>15</sup>, сосредоточились, напряглись, изготовились и готовы были начинать и ждали только, когда режиссёр крикнет, „*action*“ или дирижёр махнёт палочкой. За ними видна была ещё третья тень, стройная девушка, воздевшая

---

<sup>15</sup> *Auftakt* (нем.) – ауфтакт, затакт.

в просьбе руки к ещё не подоспевшим грому и молнии... Коломбина ли, Франческа, Смеральдина ли, а может сама сеньора Лавиния, которая тоже ждала знака дирижёра, чтобы начать игру.

Бедный, бедный друг Аниска, ну и денёк же тебе выдался.

И дирижёр махнул палочкой, и режиссёр крикнул „*action*“, и, теперь подоспевшие гром с молнией взялись озвучивать и освещать.

Комические жесты, выпады, нырки, развевающиеся плащи, мелькающие шпаги, взывающая (не вызывающая, а взы- вающая), очевидно к примирению с господом и небом, сеньора Лавиния, похожая на Коломбину, Франческину, Смеральдину и Веру...

...на шторах окон криповского главноредакторского кабинета разыгрывается настоящая комедия – комедия о вечной любви... или наоборот: вечная комедия о любви; или комедия о вечном предательстве... а может лучше: вечная комедия о предательстве! суть и смысл той и другой сводится к одному: нелепый Арлекин с огромным носом, колошматит по щекам тщедушного Пьеро, а тот подсакивает и подсакивает, будто хочет насмешить всех и, при этом, как советовал Сын Человеческий, подставляет поочерёдно то одну свою щеку, то другую, то одну свою щеку, то другую.

Теперь понятно стало Петру Анисимовичу и совершенно ясно, что когда Пьеро подставляет Арлекину то одну щеку, то другую – они вдвоём смеются над Божьей повестью и

потешают публику, и предлагают ей (публике) смеяться над Спасителем.

Коломбина же, каждую пощёчину ещё и озвучивала: «Ох!» и «Ах!» – и хоть Крип и не слышал этого, но догадывался по взлетавшим её и падавшим вниз крылам.

«Ох» и «Ах».

Неприятным казалось Петру Анисимовичу то, что действие это не имело развития и повторялось занудно, как повторяются два или три слова на заклинившей старинной патефонной пластинке, которая, если бы лишь только подтолкнули её, запела бы дальше. Но никто не подталкивал. Грому, как провинциальному хору, не хватало басов, чтоб рывкнуть, а осветителю (читай, молниям) не хватало света... чтоб светануть. И гром фальшиво и хило фальцетил... поэтому: *«Матчиш я танцевала С одним нахалом... - а фонарщик, поэтому, вяло и тускло светил: – В отдельном кабинете, Под одея... Под одея... Под одея... Под одея...»* И может поэтому, воздух – потел только, а настоящая гроза не могла никак разродиться, и даже ни одна капля дождя не падала на землю.

«А может, – думал вслух Пётр Анисимович, – может поэтому, что я устал?»

С одной стороны, было, конечно, смешно наблюдать эту кукольную комедию, с другой – понятно, снова же, было, что кто-то был в кабинете, и кто-то чем-то там шуршал, как крыса... крысы в мусорном баке. Крип проверил... рукопись лежала в портфеле.

«И всё-таки я устал», – ещё раз понял про себя Крип.

Там далеко... когда упала ночь вдруг, – было написано дальше, – когда исчез вдруг, всякий звук и когда Луна взошла и замерла, будто кто подвесил её на гвоздь... или лучше – прибил её гвоздём, Вадим увидел прямо перед собой сложенный из камней колодец, совсем такой, какой когда-то встретил на своём пути ветхозаветный Авраамов раб, посланный, чтоб привести Авраамову сыну Исааку жену, или колодец, тот же самый, у которого остановился бежавший от гнева брата Исава, брат Иаков. У колодца стояла прекрасная Ребекка, в белом... *«Девушка была прекрасна видом»*... а может, Рахиль? *«была красива станом»*... а может это была блудница-самарянка? которую апостолы и по имени не знали, зато у которой Иисус-Назарянин попросил воды из колодца Иаковлева в обмен на живую воду жизни вечной?..

А в обмен дал ей живую воду жизни вечной.

– Я, Ребекка, – сказала девушка.

Конечно же, её звали Ребекка, а по-другому и нельзя. Ребекка – значит сеть. Вот и оплела она Вадима, запутала пленённого красотой, и привязала его навеки, на веки веков.

И прикоснувшись к её руке... Нет-нет, не так!

Там, тогда, когда в рукописи в первый раз «упала ночь вдруг», было объявлено, что на странице «X» читатель найдёт продолжение истории, случившейся с Вадимом в Стране Обетованной, в самом что ни на есть натуралистическом

виде.

В натуралистическом виде, значит так: Когда вскочившая на небо луна всё же послала луч в помощь заблудившимся и застигнутым тьмой ночи путешественникам и их соглядатаям, Вадим увидел у колодца, обложенного камнями, девушку в белой одежде. Он попросил её... и чтоб напиться, и чтоб с чего-то начать разговор: «*Дай мне пить*», – потому что колодец был глубоким, и доставали из него воду как и в незапамятные времена черпалами, кувшинами, только теперь для этого приспособили банки из-под маргарина, или краски, «*Нынешняя Рахиль идёт по воду с жестяным бачком... и долговечнее, и дешевле...*»<sup>16</sup>, – а у Вадима, ни банки такой, ни какого-нибудь другого подходящего черпала...

– Я, Ребекка, – сказала Ребекка.

– Дай мне пить, – сказал Вадим.

И напоила Ребекка Вадима и его ослика, и *наполнила* поило ещё, чтоб верблюды бедуиновы, когда подойдут, тоже напились.

«Чушь, – думал Пётр Анисимович. – Ночью, у колодца? С чего бы это девушка, пусть её и звали Ребекка, пришла ночью к колодцу за водой?»

Вадим всегда рассказывал так... что...

Знаешь, Пётр Анисимович, – читал Пётр Анисимович в рукописи, – один толкователь толкует это место в Святом Евангелии, так: «*По современному времяисчислению было*

---

<sup>16</sup> Израэль Шамир, «Сосна и олива, или Неприметные прелести Святой земли».

*близко к полудню. Сложно представить, какая тогда стояла жара. В этот период времени жители не работали и старались не выходить из домов без надобности, так как находиться на улице в это время суток было просто невозможно... – и, разобравшись с «временисчислением», христианский интерпретатор тут же задаёт вопрос: - Но почему же женщина пришла к колодезю именно в этот безлюдный час? – и тут же отвечает: – ...понятно, почему она пришла в такое безлюдное время. Она просто избегала людей, потому как была блудницей, и люди, видимо, презирали её».*

У нас не полдень, но полночь... и разбитая на закоулки и переулки, на дорожки меж камней, на дрожащие в серебряном свете листки иудиных осин, на скрипнувший порог, радующаяся чему-то луна, привела и втокнула Вадима и Ребекку в дом и закрыла, радуясь, за ними дверь...

...у нас полночь, – да никто и не претендует на какие бы то, ни было параллели. Всё только похоже: как похожа любовь на любовь, предательство на предательство, ненависть на ненависть, как люди похожи друг на друга.

Бедный Иов, куда? к кому вздымаешь ты свои мольбы и проклятия? Посмотри ввысь, на эту мириадность. Можешь ты отличить мошку в рое мошкары? Одну от другой? А там ведь, тоже, знаешь, какое-то нелепое создание взывает о жалости. Так и твой бог – разве может он отличить во вселенности тебя, предположим, от меня? Не может! И услышать не может он твой единственный плач – как и ты, слышишь

только навязчивое гудение и скорее разгонишь весь рой, чем утрёшь глаза одному из них. И больше можно сказать: в похожести и неразличимости наше счастье... нет, не счастье – наше вечное пребывание... ведь и муравьи создают сонаты и сонеты, но разве они не все одинаковы в муравейнике, когда молятся богу? Обманчивая мечта, иллюзия, рефлектирующее воображение, придание себе самому свойств индивидуальности и неповторимости – вот что делает мучительной и абсурдной жизнь и рождает страх перед смертью. Как же, сгинет (не сгниёт, а сгинет), растворится в мрачном небытии такое единственное-единственное, такое моё, несравненное, неизъяснимое, невыразимое, невообразимое, такое, так гармонично сочетающееся каждой своей отдельной частью, так по-своему понимающее мир... и божий мир – моё я?

Не сгинет!

На самом деле нас, каждого, столько же ужасных, не только похожих, но и глобально одинаковых мириад, сколько ужасных мириад звёзд на небе... и в вечном времени твоя жизнь и жизнь людская всякая, заняла она своё место и живёт себе, живёт и нет ей конца, потому что у Книги нет последней буквы – их всё прибывает в Книге, и долгая история не закончится никогда. Эта долгая история – бесконечна, и вглубь, и вдаль, и вширь, и куда хочешь.

И не закончится теперь уже ночь, не забудется, не сотрётся... когда исчез вдруг, всякий звук и когда Луна взошла и замерла, будто кто подвесил её на гвоздь... или лучше – при-

бил её гвоздём, и когда Вадим увидел прямо перед собой сложенный из камней колодец... не сотрется, раз так случилось.

Как можно натуралистически описать ночь любви? Не обернулся бы такой натурализм пошлейшей пародией...

*...её сводили сильнейшие судороги. Вся выгнувшись, опираясь на затылок и пятки, она словно переламывалась надвое, потом снова падала вниз и бросалась от одного края кровати к другому. Кулачки ее были стиснуты, большой палец прижат к ладони; минутами она раскрывала руки, ловя растопыренными пальцами и комкая все, что ей ни попадалось. Нащупав шаль... она вцепилась в нее...*

*...это подействовало, как сильнейший удар хлыста. Она так неистово рванулась, что выскользнула из рук...*

*Еще несколько замедленных судорог – и она бессильно затихла. Она лежала посередине кровати, вся вытянувшись, раскинув руки; голова, поддержанная подушкой, свисала на грудь. Она напоминала младенца Христа. Он нагнулся и долгим поцелуем прильнул к ее лбу.*

*Лампа горела ярким белым пламенем, освещая беспорядок спальни, сдвинутую с мест мебель.*

*У неё вырвалось несколько бессвязных слов.*

*Мало-помалу глубокий покой разлился по её лицу. Лампа озаряла его золотистым светом. Оно вновь обрело свой очаровательный овал, слегка удлиненный, изяществом и тонкостью напоминавший козочку. Широкие веки прекрасных*

*глаз, синеватые и прозрачные, были опущены. Под ними угадывалось темное сияние взгляда. Тонкие ноздри слегка напрыглись; вокруг рта, несколько большого, блуждала смутная улыбка. Она спала, разметав свои черные, как смоль, волосы.* <sup>17</sup>

Уверен, многие, и прочитав ссылку, не сразу вспомнят это описание, а ведóмые любопытством и жаждой знаний, добравшись до оригинала... кто улыбнётся; кто-то, может, обидится, а может, рассердится за то, что его так провели. Но лишь из стремления показать, как можно запутаться в иных этих описаниях и мельканиях жизни и принять одно за другое, но ни в коем случае не из желания, ни оскорбить вкуса читателя, ни памяти автора, я устроил такую подтасовку, изменив... ну, буквально, пару слов.

Ох, как это непросто описать ночь любви!

*Так жимолость сплетается с вьюнком;*

*Так повилика нежно окружает*

*Перстнями кряжистые пальцы вяза.*

*О, я люблю тебя, люблю безумно!*

*( Они засыпают )*<sup>18</sup>

...это тоже про любовь и нежность, которые, раз случившись, не забудутся и не сотрутся, хотя, конечно же, очеред-

---

<sup>17</sup> Э. Золя (куда уж, натуралистичнее?), «Страницы любви».

<sup>18</sup> Уильям Шекспир, «Сон в летнюю ночь», пер. М.Лозинского

ная мистификация.

Смешно, смешно было наблюдать эту кукольную комедию, но надо было дальше, и Пётр Анисимович зашёл в парадную дверь издательства «Z», фасад которого выходит... но кому какое дело, куда выходит фасад издательства «Z»?

Вахтёр: *Вы?!!* (далее нечленораздельно).

Крип: *Я! Кто у меня в кабинете?*

Вахтёр: (нечленораздельно).

Крип: (нечленораздельно, а потом членораздельно). *Я спрашиваю, кто у меня в кабинете?*

Понятно стало Петру Анисимовичу, что вахтёр ему не помощник.

Также понятно, – читал Пётр Анисимович, – что там, сейчас, наверху, Бимов и Бомов или Бим и Бом... что-то ищут – редактор, при этом, совсем выпустил из памяти третью, женскую тень на шторах кабинета, похожую на Франческину и Смеральдину, на синьору Лавинию и на Веру.

Пётр Анисимович бросился вверх по лестнице, но удар грома, настоящего теперь, не бутафорского и поделочного, остановил его, и тут же, сверху на лестнице, в открывшемся проёме окна и в распахе молнии Петя увидел Веру. С размётанными руками, она была сам, сама ангел хранитель, заступница и Агафья, Перпетуя, Аксинья-полухлебница, дева Еннафа, дева Валентина и дева Павла, и преподобная мученица Евдокия... и пока главный редактор нанизывал в своей

голове такие баранки сравнений и уподоблений, настоящая Вера спустилась к нему и горячо, в самое ухо зашептала, что там, в кабинете, Бимовы и Бомовы делают обыск, и что Бомов ей лично сказал, что большое подозрение падает на него.

– Не надо туда идти, – продолжала шептать Вера, – я боюсь за тебя.

«Конечно же, туда идти не надо... надо, на квартиру Вадима», – и снова у Петра Анисимовича не обошлось без кладбищенских защёлок: «Клац и клац», – и снова он сжал в руках портфель с рукописью, поцеловал Веру в лоб и выбежал из издательства «Z», фасад которого выходит неизвестно куда.

Гром теперь, на набережной, вошёл в силу, и молния поддала. При этом, как и прежде, ни одной капли не падало на мостовую. Дома и телефонные будки стали высвечиваться, будто негативы в журнале судебно-медицинской экспертизы. В выветах, Крип, постоянно оборачиваясь, как если бы он был грабитель, или домушник, или... словом, как если бы он был какой-то человек с нечистой совестью, постоянно оборачиваясь, заметил, что за ним, на одном и том же расстоянии, не приближаясь и не отдаляясь, притороченные к нему, будто телега к коню, скользили по ротозейничающим стенам домов тени.

Тени замирали, когда замечали на себе *Schulterblick* (взгляд из-за плеча) Петрухи; замирали, как и должны замирать все любые, застигнутые на своём соглядатайском деле

соглядатаи, приклеиваясь к свету освещённой молнией стены.

Но надо было оторваться от слежки и Пётр Анисимович ударился в закоулки и проходные дворы... Смешно... будто от соглядатаев можно куда-нибудь удариться.

Иногда Пётр Анисимович оказывался в таких колодцах, что казалось, из них нет никакого выхода, но, отмечая глазом где-то в углах и раздрызганных подъездах неприглядность жизни, он, всё же, выбирался: *«Входите тесными вратами, – совсем неконтекстуально бился у него в висках голос апостола, – потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель...»* – и он находил какую-нибудь узкую щель, и погибель откладывалась.

Гром с молнией перестали и не пролились... Как бывает: страдали – и не получилось... воспламенялись чувствами – а оказалось... что и он другой, и она не та; и не пролились.

«Сбежать, оторваться» – но все узкие места и тесные врата закончились, и Пётр Анисимович выпал на широкий проспект. На проспекте ни одного человека и только вдали, как в бессмертной «Шинели»: *«Вдали, бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света»*. Вдали, где прямой проспект, наскучив самому себе своей тошной прямоотой, поворачивает, там, вдали, одиноко и лениво помигивала мигалкой милицейская, выехавшая в ночной дозор скорая помощь.

И Пётр Анисимович, как Акакий Акакиевич, сердцем

чувствовал что-то недоброе и шёл, всё убыстряя шаги, а потом бежал, убегая, как крошечный лагерлефовский сказочный Нильс, от нависшего над ним бронзового короля с бронзовой дубиной.

Ещё Петру Анисимовичу, когда он бежал, приходил на ум помешанный Евгений из «Медного всадника», Атлант, бегущий на край света от Зевсовых перунов и царь Саул, которого настигают филистимляне, чтоб отрубить ему голову от тела и, почему-то, снова же неконтекстуально, картина венецианского живописца Карла Кривелли «Бичевание Христа».

Будучи ещё университетским Аниской и, как всякий такой Аниска, будучи впавшим, на некоторое незначительное для вечной жизни, но, всё же, в зафиксированное вечным штихелем поэтическое баловство, сочинил Пётр Анисимович игривый парафраз на гениальное стихотворение гениального поэта, по поводу удачно подсмотренной в жизни человеческой сути.

*Johann Wolfgang Goethe Пёмп Крун*

*ERBLEHREPARAPHAZE*

*Vom Vater hab' ich die Statur Своей ни мысли у меня, ни слова,*

*des Lebens ernstes Führen, Всё от отца, от деда моего,*

*vom Mütterlein die Frohnatur И даже к женищинам желание моё не ново,*

*und Lust zu fabulieren. Мне прадед завещал его*

*Urahn herr war der Schönsten hold, Страстей букет, мне  
бабка подарила,*

*das sprukt so hin und wieder, Желаний тьму, по-моему, баб-  
кин брат,*

*Urahn frau liebte Schmuck und Gold И как вино в бокал сце-  
дила,*

*Das zuckt wohl durch die Glieder. В меня её сестра, любви-  
обильный яд.*

*Sind nun die Elemente nicht K нарядам пыл – конечно же,  
прабабка,*

*Aus dem Komplex zu trennen, Влечение к деньгам – конечно,  
деда брат,*

*was ist dann an dem ganzen Wicht Размер ноги, осанка и  
посадка –*

*original zu nennnen. Отца или, верней – отцовский вклад.*

*Ещё труслив я и обманщик,*

*Немножко сплетник и немножко эжмот...*

*Нет! Всё это не я – я в жизни лишь шарманик,*

*Я ручку лишь кручу – а родственничков хор во  
мне поёт.*

«Если бы не «сцедила» для рифмы к подарила... то талантливо, ведь, правда?» – подумал Пётр Анисимович, ото-

рвал глаза от рукописи и обвёл взглядом присутствующих. Непонятно было, – продолжал читать редактор, – откуда автор рукописи знал этот... это... эти в шутку сочинённые на занятиях по немецкому языку стишки. Пётр Анисимович их никому не показывал, разве что раз, тогда, на «немецком», прочитал университетским товарищам-студентам, которые тут же, как это свойственно студентам (всякой бессмыслице придать смысл и тут же его высмеять), дали ему ещё одно прозвание: «Родственничек», а «бедный» прикладывалось, когда кому-то хотелось подколоть Петруху особо.

Бездумно (не безумно, а бездумно) так, смеясь над товарищем-студентом, студенты-товарищи и не предполагали, как были близки к истине. Справедливости ради – студенты, потому они и студенты, что ещё только близки к истине, но здесь, облекая смысл в бессмысленность, попадали они как раз в яблочко. Студенты-товарищи неосторожным словом своим царапали бережно хранимую в запасниках души, невидимую простым глазом мишеньку, и подмалёвок, глубоко спрятанный в нагромождениях: и упорядоченных лессировок, и лихих мазков-опытов жизни, вдруг проступал наружу и обескураживал своим пронзительным цветом, как, скажем, всяческие либидо и всевозможные архетипы, встревоженные памятью чувств, поражают вдруг, сквозь фасады прикрас и надувательств, голой своей правдой, выставляя напоказ потаённый свой образец и свои сокровенные причины.

Конечно же, такое «бедный родственничек» жалило Петра Анисимовича; и так же, как вспоминалась ему, когда он слышал слово «Аниска», маленькая героиня Фёдора Сологуба, с по-детски невинным кухонным ножом в руке – так же безобидная и тоже невинная шутка студентов вызывала у Петра Анисимовича ряд сморщенных ассоциаций, и на сцене, на подмостках, в пространстве между обратной стороной век (фиолетовым театральным задником) и глазным яблоком, являлся абрис мальчика Пети, образ, который выюжился выюжной позёмкой и запорошивал глаза непрошенным горе-воспоминанием и незваной слезой-обидой. «Бедный родственник» и Безотцовщина перемешивал в одиноком своём детском воображении сказки про Нильса и, в красной обложке, книжки про молодую гвардию и про мать Горького с мечтой о перламутровом аккордеоне, виденном однажды сквозь майские флажные перехлипы, оставленном, в паузе между Полонезом Агинского и Аргентинским Танго, на стуле, на импровизированной ради праздника сцене. О, перламутровый аккордеон!.. и не только потому, что соседская девочка, из «богатых», Неля ходила в музыкальную школу с красивой нотной чёрной папкой, с тиснённым скрипичным золотым ключом наружу, а потому что...

Акордеон мама ему не купила, считая... да, да! как и он сам, потом (наследственность, гены, весь в маму) считал многое, что для другого было серьёзным и значительным, несерьёзным для себя и не сто́ящим внимания и затрат на

самом деле; а Неля-Нелля, когда папка с золотым ключиком растрепалась, отдала её Петьке (уже тогда склонному переиначивать в написанные слова осколки печального опыта и оскомы «горестных замет»), подарила, чтоб он оскомы свои складывал туда и засушивал – как стрекоз и разноцветных бабочек, лежавших тут же, вместе со всякими вещичками (ржавый ключик, фиолетово-гранёный фальшивый брильянтик, или чёртов палец, или кроличья лапка, например), вещественными памятками. Временами будущий журналист, редактор и всё же писатель Крип вынимал памятники, раскладывал на столе и пытался, в своём детском безвременье дня и ночи, сложить из них, на манер поражённого, тоже осколком жизни, мальчика Кая, слово «вечность», но получалась только история постыдной и нищей беднородственности. В Нильсах, Башмачкиных и Бедных Принцах видел будущий Пётр Анисимович себя, в них ему угадывалось его собственное геройство и собственное свойство собственной маленькой жизни, которого он стыдился и прятал от других, а Ланселоты, Артуры, Аполлоны, Зевсы, Президенты мира и Нелля пребывали в недостижимо-торжественной обители, куда он мог только заглядывать боязливым глазом, когда ему позволяли и тихонько, снова же, чтоб никто не заметил, завидовать.

Неля-Нелля-Нелли-Нелла, Нелла-Нелли-Нелля-Неля – вот один из вывертов, один из особых осколочков, отдельный камушек!

«Какая Неля-Нелли-Нелла?» – .....

Ну, пусть не Неля, пусть Нана, Нансена, Нанси, Нансия! но было же! помните? помните: Задник прошит и заштопан солнечными нитками! и нитки трещат по швам и рвутся, и рвут фиолетовый бархат, и прорываются! чтоб ласкать и цапать гладкокожую девочку, чтоб заласкать и зацапать её вместе с золотым ключиком на чёрной папке для нот (дался же этот золотой ключик)? Девочка Нана-Неля бежит, скачет разножками, радуясь и смеясь неизвестному, убегает от солнечных лучей – ей не хочется быть совсем зацапанной, убегает и вприпрыжку впрыгивает в роскошные тополиные тени, и теперь – только солнечные зайчики мчатся-несутся, сливаясь в линии, в струящихся змеек по её разбежавшимся светло-жёлтым волосам, по васильковому платью, по «медового оттенка коже», по «тоненьким рукам», по «длинным ресницам», «большому яркому рту», по «русалочной мечтательности», «перламутровым коленкам» и по «наглаженным морем ногам» (пагубное влияние Набокова; моря и близко не было), словом, существо – грациозное, сквозящее и нежное, тонкими руками, наглаженными солнцем ногами и всеми вышеперечисленными приметам отбирает у солнца, воздуха и у шуршащих известные всем тайны листьев их яркость и прихотливость, затейливость, замысловатость, причудливость, приворотливость, цветущность и цветность... и тут же разбрызгивает *всё это* вокруг себя, но выдавая теперь *всё это* за своё собственное.

И снова настырный, назойливый любимый пастырь. О! это как Чёрное море:

*«...только по худым голым плечам да по пробору можно было узнать её среди солнечной мути, в которую постепенно и невозвратно переходила её красота»<sup>19</sup>.*

Чёрное море на пути евреев. Но и мы, с помощью божьей, преодолеваем его, – читал главный редактор издательства «Z», окна которого выходят...

«Да кому, какое дело, куда выходят окна издательства «Z»?! – в который раз взрывается Пётр Анисимович. – Вера, Вера! – снова говорит в трубку, которую так до сих пор и держит Пётр Анисимович около уха, Пётр Анисимович. – «Вера, скажите, кто принёс мне эту рукопись?»

– Рукопись? – заинтересованно говорит Бимов.

– Может наше расследование имеет какое-нибудь отношение к Вашей рукописи? – хитрит Бомов.

– ... – привстал Бим.

– ... – привстал Бом.

– Может, *Ваша* рукопись имеет какое-нибудь отношение к нашему расследованию? – уточняет Бимов.

– Думаю, рукопись ни при чём! – говорит Пётр Анисимович и прикрывает ладошкой лежащую на столе рукопись.

– Думаю, Вы думаете неправильно, – возражает еврей из своего угла. – Я за свою жизнь прочитал много рукописей. Я

---

<sup>19</sup> Вл. Набоков.

знал многие рукописи, написанные и рукой святого апостола, и клешнёй отпетого злодея. И могу Вас уверить, что рукописи (часто даже), дают материал и идеи справедливому и пусть даже несправедливому расследованию, следствию. И разве сможет кто, например, читая Книгу, усомниться в праведности и правдивости вдохновлённых богом авторов или, если вам нравится по-другому: не сделает вывода, что авторы, писавшие эту рукопись – праведны, правдивы и вдохновлены?

– Я тоже так думаю, – снова хитрит, обращаясь будто бы к еврею в шляпе и проявляя вдруг неожиданную, недюжинную и приткую эрудицию, младший Бомов. – Я имею в виду Вашего пророка, титана, гения, полубога, царя, вождя, *кротчайшего из всех людей на земле – рабейну, Моше рабейну, Моисея. Ах, Гендель, Шуберт, Шёнберг, Берлин, Вейнберг, Гаст и Рубинштейн, Пинтуриккьо, Синьорелли, Бернардино, Рафаэль!* – и, чтоб уже окончательно переманить на свою сторону глазливых болельщиков, коллега Бомов добавляет с напором, свойственным победителю:

*Мраморный Моисей*

*Высотой в пять локтей! –*

Микеланжело ди Лодовико Буонароти Симони!..

...но... тот же Моисей... *кротчайший*, извините, велел

убить брата своего, друга своего, ближнего своего, велел своим военачальникам, тысяченачальникам и столоначальникам убивать женщин и детей и приказывал их... – хотел уже про пророка ещё что-то сказать нехорошее перебитый евреем из угла... но был перебит евреем из-за угла... но евреем из-за угла был перебит...

– Но! – перебивает его еврей из угла. – Мы, – и еврей обводит круглыми руками Мир, – не говорим сейчас о благовидном или неблаговидном частном поступке, мы говорим о великих результатах Поступка, которые преобразуют (жест объемлющих рук) Мир...

– А я, – перебивает, в свою очередь, Бомов, – а я напротив, не говорю о следствиях, в которых расследуются мировые катаклизмы, а о следствии, хоть бы и *уголовном*... – тут младший лейтенант, младший сотрудник молниеносно косится на Петра Анисимовича и, когда оказывается пойманным Петра Анисовича глазом, кокетливо и намекающе улыбается ему и, как кажется главному редактору, даже подмигивает, – ...да! такова жизнь – *уголовном*! – продолжает подмигнувший. – И здесь Ваша рукопись (обращаясь к Петру Анисимовичу) как и Ваша трагедия (к еврею в углу), описанная Вашим Пророком, могут ох как помочь разобраться и найти убийцу... Тогда благовидности и неблаговидности, подсмотренные пытающим или пытливым, если хотите, глазом добросовестного мастера, приведут прямо к неблаговидному преступлению или преступнику, если вам нравится –

по– другому: приведут неблаговидного преступника прямо на скамью осуждения и отчуждения!

Петру Анисимовичу стало страшно. Он ещё крепче прижал к себе портфель. Конечно, его поразило так развязно и без придания конкретного смысла сказанное слово «отчуждения»...

*«Слово отчуждено, обособлено и отделено от существа Божия»<sup>20</sup>*, – произнесло бы марево в римской тунике и тоге, соткавшись от того, что Петру Анисимовичу стало страшно, ибо как раз слово «отчуждение» понимал он исключительно как свою судьбу и непохожесть свою... но по проспекту туда и сюда, прямо под ногами, перед глазами, поперёк, из подворотни в подворотню, из подъезда в подъезд, из угла в угол, из-за угла за угол, за афишную тумбу, зашмыгали чёрные и квадратные, как тени, мысли, мысли, как тени. Пётр Анисимович выхватил одну глазами и тут же подумал: «Запутать след!», – вторую: «Навести на ложный след», – вредное влияние уголовного репортёрства, которым занимался Крип в то время, когда его жизнь шла по чёрным точкам, сливающимся в одну невыносимую чёрную линию (полосу) – там (в уголовном репортёрстве) такая метафора как нож в шоколадном масле. Ах, эта дворничья метафора: «Замести следы».

Ах, да – это автомобиль, карета скорой милицейской по-

---

<sup>20</sup> Сократ Схоластик, кн.1

мощи. Галстук наружу. Побеседовать с милиционерами из скорой помощи (может, отсекут) и... поразмахивать свободной рукой и рукой с портфелем – так чтоб *этим* всем казалось, что встретились хорошие знакомые, добрые друзья его, милиционеры!

– Вот так, дорогие! – и Пётр Анисимович, прямо распался юродивейшим реверансом всем *этим*, всем наблюдателям, соглядателям, шпионам и сыщикам, Бимам, Бомам, Бимовым и Бомовым, Бедуиновым, и отдельно Иисусу из Назарета, и Матфею-апостолу, и ветхому Захарии, Иуде же, конечно, и... теряющийся в засушенных стрекозиных крыльях ряд... и Вадим, и бильд-редактор Юленька Крепсова – бесконечный ряд... все те, которые встают передо мной и вокруг меня и сливают в меня нечистоты, и валят всё со своих плеч на мои, все мириады отработанных моментов, всю тьму неподчиняющихся правовой сфере рефлексов... Лодовико Буонаротти Симони...

...но надо было дальше.

Дальше Пётр Анисимович не бежал, но вместе с проспектом направо повернул, а, повернув, повернувшись (значит – оглянувшись) раз, другой, понял, что никакие его «добрые друзья и знакомые» не помогли, не отсекали (те вполне могли откупиться), что по обеим сторонам повернувшего проспекта стлались по стенам, по мостовой и замирали, когда приходилось замирать, и вдавливались и в стену, и в мостовую, если надо было, если надо было вдавливаться, теньки

(теньки – это маленькие тени). И тогда всходило: «Запутать след!», «Навести на ложный след!» и такое подобное, будто соглядатаев можно навести и запутать. Смешно.

Пётр Анисимович резко и повернулся (оглянулся – значит), и остановился одновременно. Созрел некоторый план, а для этого надо было идти в противоположном направлении. И Пётр Анисимович пошёл. Когда, и как только, он проходил мимо, скажем, обёрнувшейся вокруг фонарного столба тени (зелёной чешуйчатой русалки), та, разобёртываясь, соскальзывала со столба и скользила вслед. Петр Анисимович ещё раз резко остановился, и тени снова зашхерились в шхерах, и Пётр Анисимович подошёл к одной из них на белой стене, хотел пощупать, определить на ощупь и ощутить какое-нибудь свойство: твёрдое, мягкое, рассыпчатое, мокрое, липкое, тёплое или холодное?.. Ни тёплое, ни холодное... стена как стена, только *стенью*. А стена выпрямилась вдруг и подала руку, предлагая вступить к ней в плоскость стены. Пётр Анисимович принял приглашение и вступил, желая прекратить всё это – раз и сейчас навсегда. Но не тут-то было! Горячились и кривлялись, и принимали позы за столом, во всю стену, обвинители, заседатели, адвокаты и судьи в сандалях (сандалиях). Ноги в сандалях на самом первом плане – чистые, утёртые полотенцем – были хорошо видны, прямо лезли в глаза, хотя понятно было, что художник пытался затушевать их и сделать в глаза не лезущими, потому что они были похожи на копытца, копыта парнокопытно-

го(ных), или сатиров, или силенов, может быть, или других фавнов и панов. Сверху за столом – уже апостол, а снизу под столом – ещё сатир. Все возмущены, размахивают руками, ещё хуже, чем в кабинете.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.